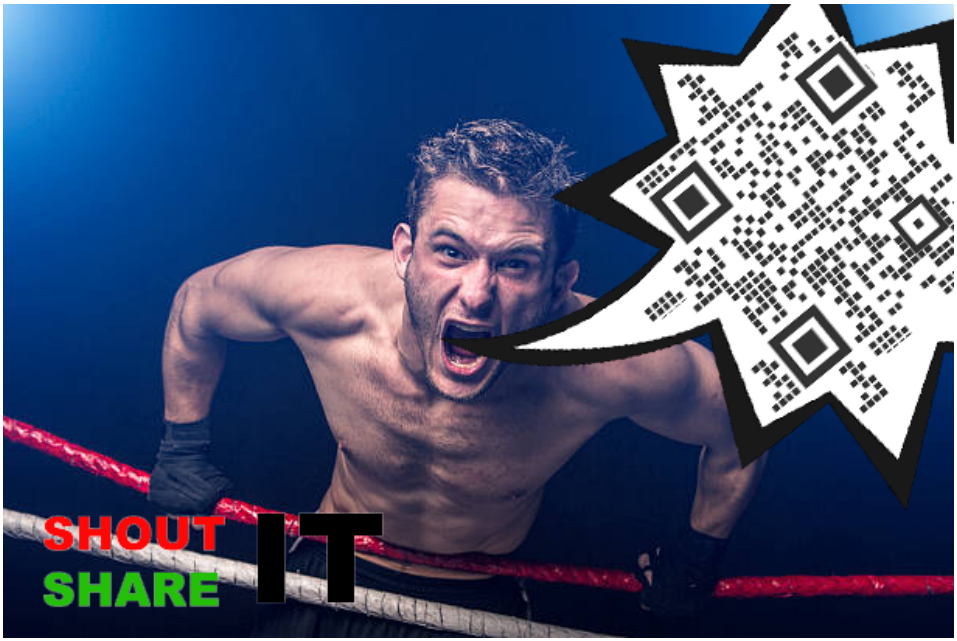
Памяти Н. Ф. Анненского

Федор Дмитриевич Крюков


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Федор Дмитриевич Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского в казацкой семье.

В 1892 г. окончил Петербургский историко-филологический институт, преподавал в гимназиях Орла и Нижнего Новгорода. Статский советник.

Начал печататься в начале 1890-х «Северном Вестнике», долгие годы был членом редколлегии «Русского Богатства» (журнал В.Г. Короленко). Выпустил сборники: «Казацкие мотивы. Очерки и рассказы» (СПб., 1907), «Рассказы» (СПб., 1910).

Его прозу ценили Горький и Короленко, его при жизни называли «Гомером казачества».

В 1906 г. избран в Первую Государственную думу от донского казачества, был близок к фракции трудовиков. За подписание Выборгского воззвания отбывал тюремное заключение в «Крестах» (1909).

На фронтах Первой мировой войны был санитаром отряда Государственной Думы и фронтовым корреспондентом.

В 1917 вернулся на Дон, избран секретарем Войскового Круга (Донского парламента). Один из идеологов Белого движения. Редактор правительственного печатного органа «Донские Ведомости». По официальной, но ничем не подтвержденной версии, весной 1920 умер от тифа в одной из кубанских станиц во время отступления белых к Новороссийску, по другой, также неподтвержденной, схвачен и расстрелян красными.

С начала 1910-х работал над романом о казачьей жизни. На сегодняшний день выявлено несколько сотен параллелей прозы Крюкова с «Тихим Доном» Шолохова. См. об этом подробнее:

- ПАМЯТИ Н. Ф. АННЕНСКОГО
  -

ПАМЯТИ Н. Ф. АННЕНСКОГО

Помню такую сцену. Около телефонной трубки робко и застенчиво толпятся передо мной маленькие ребятки — Богдановичи. Скарлатина заставила их перекочевать из своей квартиры на сторону, а дедушка скучает в разлуке, и вот раз в день приходится им заходит в квартиру мало знакомых людей и по телефону обменяться с дедушкой несколькими словами. Дедушка этот — Николай Фёдорович Анненский…

Мы просим номер 144-66, и вот начинается беседа…

До меня долетают лишь отрывки, но я уже догадываюсь, когда мои маленькие гости говорят именно с дедушкой, а не с кем-либо другим из семьи. Тогда начинается особое оживление и веселье, слышатся взрывы смеха, изумлённые восклицания, нетерпеливая толкотня около трубки и счеты из-за очереди. Это с несомненностью указывает, что у телефона — дедушка и по обыкновению рассказывает что-то ужасно интересное и весёлое.

— Что?.. кошка?.. родила?!.. Сколько котенят?..

По многообразным восклицаниям, любопытствующим вопросам и озабоченным просьбам моих гостей, даже я, человек посторонний, составляю себе отчетливую характеристику каждого котёнка, остроумно изображённую дедушкой, и заражаюсь общим весельем. С котят неутомимый и неистощимый дедушка, всегда, казалось бы, так заваленный серьёзной работой, переходит на другие предметы, и всё у него трепещет жизнью, весельем, все полно захватывающего интереса. В заключение — какие-то стихи на бабушку, производящие необычайную сенсацию…

Я как теперь слышу это радостное детское оживление, ясный смех, лёгкое междоусобие из-за трубки телефона, — и думаю о том, что не только дети, но и все взрослые, молодые, пожилые люди, которых мне пришлось видеть и знать, — все в беседе с Николаем Фёдоровичем как-то невольно, неприметно для себя, светлели, оживлялись и смеялись тем же ясным смехом, как его маленькие внучата. Всем и всегда он был интересен, всех легко, без всяких усилий с своей стороны, брал в плен, очаровывал своим блестящим остроумием, согревал неизменным радушием, заражал и выпрямлял унылых и пасмурных своим веселым, бодрым, мило-шутливым настроением. В непогожий, холодный и ветреный день поздней осени иногда глянет солнце сквозь разорванные облака, на минуту осветить ласковым светом унылую землю, — и прояснеют вдруг знакомые дали, заблестит зеркальными осколками вода в колеях дороги, среди побуревшего жнивья зелеными пучками весело ощетинится молодая травка, —

улыбнётся и просветлеет добрым и радостным светом лик природы. Таким милым светом вечерним был и Н. Ф. в последние годы невесёлой русской жизни…

Силу обаяния Николая Фёдоровича мне приходилось наблюдать на людях, по политическим симпатиям очень далеких от тех взглядов, каких держался сам Н. Ф. Помню, на юбилейное заседание, посвящённое 50-летию Литературного Фонда, я затащил своего приятеля-профессора, человека беззаботного касательно политики и литературы, но для порядка поругивавшего не только «товарищей», но даже и к. — д-тов. На заседании в числе других ораторов выступал и Н. Ф. Анненский. Речь его была посвящена памяти Н. К. Михайловского. Это было выступление чисто академическое, не боевое, где обыкновенно с особым блеском развёртывался Н. Ф., - но и эта, на мой взгляд, спокойная и ровная речь изумила и зажгла моего правого приятеля огнём своей искренней веры в торжество великой борьбы за свободу и благо народа, пленила своим юношеским энтузиазмом.

— Ведь вот… старик… Много ли и жить-то ему осталось? Всё равно, ничего не увидит осуществлённым из того, о чём волнуется… А горит, как юноша.

Обаяние же его в обыденной жизни — на людей, имевших счастье близко соприкасаться с ним, было положительно безгранично. Его искромётное остроумие, никогда не покидавшая его бодрость, озарённая ясность, удивительная чуткость сочетались с особой душевной деликатностью, участливостью и умением подойти к человеку. Даже в объяснениях с полицией, столь часто выпадавших на долю Н. Ф., он способен был сохранить благодушную мягкость, и эта его выдержка, благородная, спокойная, отменно любезная манера беседы, прикрытая флером легкой, почти незаметной, невольной иронии, очаровывала даже гг. приставов и полицеймейстеров…

Мне, провинциалу, не пришлось быть свидетелем наиболее видных общественных выступлений Н. Ф-ча, которые совпали с годами освободительного движения. Я познакомился и получил возможность часто видеться с ним уже позже, в годы общественной депрессии, в пору «успокоения», и видел его большею частью в тесном кружке единомышленников — на партийных собраниях и на четвергах в «Русском Богатстве».

Был он нашим неизменным и несравненным председателем. В заседания наши он вносил всегда особенное оживление своим искромётным остроумием, богатством и разнообразием своих жизненных воспоминаний и блеском суждений. Его частые эпизодические уклонения в сторону от обсуждаемого вопроса

прямо зачаровывали слушателей. И к прерванному обсуждению возвращало их лишь шутливое напоминание его самого, председателя:

— Ну-с, государи мои, вернёмся к нашим баранам…

Столь же обаятельным и многообразным был он и в роли хозяина на четверговых собраниях в редакции «Русского Богатства». много раз возникала у меня мысль, и не у меня одного, — записывать за Н. Ф. его богатые воспоминания, рассказы о прошлом, которые он передавал с изумительным мастерством, его блестящие mots, реплики, изящные анекдоты… Сам он писал мало. В последние годы уже не мог писать — ни времени, ни здоровья не было. И я очень жалею теперь, что не занёс хоть части щедро расточаемого им богатства памяти и остроумия на бумагу. Так и унёс он его с собой в вечность… Мы, его слушатели, были как дети на морском берегу, полном нарядных раковин и многоцветных камешков: кругом — красота, блеск, диковинная игра цветов и красок… И так много, так щедро рассыпано всё, что не знаешь, что взять на память, и стоишь очарованный и растерянный…

Я должен признаться откровенно и покаяться в собственном невежестве: из писаний Н. Ф. мне знакомо немногое. Знаю, что и статистические, и экономические его исследования считаются ценными работами в своей области, но тем большим человеком, тою значительной, центральной фигурой в русской общественной жизни, каким я видел и чувствовал его, сделали его, конечно, не литературные его труды и заслуги. Рядом с ним приходилось видеть людей с очень громкими политическими, учёными, литературными именами, но их соседство никогда не затмевало Н. Ф. своим блеском, не умаляло его роста, — на всяком месте, при всяких условиях в нём чувствовался особенный человек, к которому невольно тянулся взор, за которого цеплялась мысль, как за лучшего и надежнейшего общественного предстателя, судью, защитника, авторитетнейшего руководителя и вождя…

Человек он был — в самом возвышенном и благородном смысле этого широкого слова. Редкостно и счастливо сочетались в нём острота ума и чуткость совести, мужественное сердце и гуманная отзывчивость, доблесть стойкого гражданина и мудрая терпимость отважного борца, много пережившего, передумавшего, перечувствовавшего… Живой и трудно достижимый образец того, какими надо быть всем нам…

И каждый раз думалось, глядя на него: вот человек, которому я без тени сомнений вверю свой путь, и он не обманет моей веры… за ним пойду всюду, куда он поведёт, куда укажет, и я знаю, что благородное слово его ни на йоту не разойдётся с

делом, что бесстрашно умрёт он под завещанным ему знаменем, и легко, и радостно, и славно умереть под этим знаменем за ним и рядом с ним…